

Хутор, в котором я родился и провёл своё детство, стоял глубоко в степи, обочь больших дорог. Когда-то в нём проживало более тысячи душ народа. «На воскресных службах в церкви негде было стоять», – рассказывала бабушка. Потом расказачиванье, раскулачиванье... Храм приспособили под свинарник, и Господь навсегда забыл об этом месте. Сейчас хутор уже исчез. Осталась от него лишь гряда кредяных бугорков, петляющая вдоль Терновой балки, заросшее бурьяном кладбище, да ещё присказка, живущая в моём сердце:

Куркин – славный хуторок,
Чёрт по балке разволок.

...Присказка, и картинки моего детства...

Каждый краёк в хуторе имел своё прозвище: Кобели, Матрёновка, Бугаевка... Наш куток звали Чиканами. Это прозвище прилипло к нам из-за двух старух Чиканих, проживающих по соседству с нами, в крохотном флигельке, подаренном им колхозом.

Мы жили в большом, но уже покосившемся от времени курене. В семье нас было трое: я, моя мать и бабушка Дуня. Отца я не помню, он утонул пьяным в колхозном ставке, когда я был ещё слишком мал, чтобы помнить. Напротив нас – усадьба деда Орла. Орёл жил один. Ещё в коллективизацию его со всею семьёй ссылали в Сибирь. Там от болезней погибли жена и все пять его дочерей. С Орлом я крепко дружил. Когда-то он научил меня вязать к леске крючки и в зиму ставить на зайца петли. Бывало, пристраивает петлю на тропе и приговаривает:

- Гляди, покуда живой... Вот так! Понял... чем дед бабку донял?
- Понял...
- То-то ж...

Правда, нрава Орёл был крутого, и, если что было не по нём, он меня лихо налаживал, и я, обиженный, уходил. Но уже на следующий день он весело шурился из-за своего плетня:

– Санько, табаку хочешь?

– Не хочу...

– Что так?

– Баба лупить будет...

– Вот беда с твоей бабкой... Кабы не она – щас бы и закрутили...

Ладно, будя тебе сопеть, пошли зайца снимать.

И я, забыв про обиды, тут же бежал к нему.

Справа от нас в обшарпанной, намазаной хатёнке жили сёстры Чиканихи. Старшая Шурка и младшая Лидка. Обеим уж под восемьдесят. Бабушка Дуня рассказывала, что до революции были Чикановы из беднейшей семьи. Отец – пропойца, мать – потаскуха, ни кола ни двора... Росли девки полуголые, злые, часто дрались между собой в кровь. Над ними смеялся весь хутор. Потом – революция. Глядь – они в комитете бедноты первые активистки. Постриглись, красные косынки повязали, преобразились: смотрят сурово, с вызовом. В то время их вся округа боялась – не до смеху стало. Кто когда плохо глянул, не то слово сказал – всё вспомнилось. Они решали: кого выселять, кого миловать. Сами, с шайкой уполномоченных, и кулачили, сами чужое добро делили.

Шло время. Минула пора рушить, нужно было что-то строить, а на это у сестёр тямю не было, – породочка, она верх при любой власти берёт, и скоро те, кто был поразбитней и хватче, оттёрли их на третий план. Но и по сей день, вспоминая их былые заслуги, Чиканих на всех собраниях неизменно сажали в президиум. Там, от гордости и чувства своей значимости, они преображались и походили на античные скульптуры.

Замужем Чиканихи никогда не были, детей не имели, жили одни, в нищете и грязи. По-прежнему не ладили между собой и бились чуть ли ни насмерть. Верх брала Шурка, но с годами она стала сдавать, и одно время её здорово колотила Лидка. Потом Лидка занемогла, и Шурка вновь брала верх.

Ни одного дерева в Чикановом дворе не было. Когда-то под их окном рос куст дикой смородины, но и его Шурка вырубил.

– Зачем же ты смородину погубила? – говорила ей бабушка Дуня.

– Хоть ягоду б когда съела, а так...

– Там, что ни ночь – сидит кто-то, караулит... – голос у Шурки дребезжащий, тягучий.

– Да на что вы сдались кому?

– Сдались... Кажен вечер гляжу – сидит...

Одно время подрабатывали Чиканихи тем, что пасли хозяйское

стадо. Харчи им собирали раздельно, платили порознь, но и без того сёстры находили повод, чтобы изодрать друг друга в кровь. Что они не могли поделить – одному Богу известно, только дня не пройдёт – обязательно передерутся, поделят стадо – и в разные стороны. Видят хutorяне: стадо идёт, выскакивают встречать, а это лишь половина стада – Шурка пригнала, другую половину ещё часа два выглядывают, – пока Лидка пригонит. Но со временем силы их угасали, и приработок этот отпал. Огород сёстры не сажали, ни кур, ни другой какой живности не держали, – жили на скудную пенсию да на то, что из жалости кто-либо подаст. Давали всегда врозь: отдельно для Шурки и для Лидки отдельно. Не дай Бог, не деля дашь – обязательно передерутся, при этом верх возьмёт Шурка и всё присвоит себе.

Бывало, Шурка пробегит по хutorу, разживётся чем-либо и тащит два добрых выюка. Унести одновременно их не может, оставит один, а другой несёт настолько, чтоб первый с глаз не пропал, потом этот ставит, – за первым вертается. Так по очереди и перетаскивает.

– Что, ведьма, не сдохла ещё, побираешься? – окликал её Орёл.

– Ты вперёд подохнешь... – хрипела в ответ Шурка.

– Дуй, дуй... Вон другой оклунок упёрли уже...

Чиканиха не отзывается, но на всякий случай всё же оглядывается на своё добришко.

– Орёл, ну что ты к ним цепляешься всё? – ругала его бабушка

Дуня. – Сколько лет прошло, чего вспоминать... Их уж наказало обеих – убогие...

Мне часто доводилось ходить к Чиканихам. Печёт мать пышки, – кликнет меня.

– Отнеси, Сашка, а то подохнут с голоду.

Несу каждой в отдельной посуде. Стучать – не достучишься. Не скоро за дверью проскрипит Шуркин голос:

– Кто-о?

Представляюсь.

– Чего тебе?

– Мамка пышки прислала...

Долго гремят засовы, потом приоткроется дверь.

– Эта голубенькая чашка – тебе, а с цветочками – Лидке... – распределяю я, как учила мать.

Чашки исчезают за дверью, снова гремят засовы, и затем, вместо благодарности:

– Иди... Плошки послая занесу...

В этой их закрытости была какая-то тайна, разжигавшая моё любопытство, и я через щелочку в занавеске тихонько подглядывал в их хату. Ничего особенного – грязный, наверное, годами неметённый пол, в центре, осевший на подгнившую ножку, заваленный немойтой посудой,

картофельными очистками и крохтями стол, табурет, лавка, у небелёной печки сундук, на котором спит Шурка, да заваленная лохмотьями кровать Лидки в дальнем углу. Там, где обычно висят по домам иконы, почерневший от копоти и паутины, весёлый портрет Ильича.

– Это главный их чёрт, – объяснял мне Орёл, когда я делился с ним своими наблюдениями, – У них такой порядок заведён: прежде, как на беду ходить – Ему молятся.

Измученный таким разговором, я тут же принёсся домой.

– А Орёл говорит, что Ленин вовсе не Ленин – чёрт, – задыхаясь, выпалил я бабушке Дуне.

– Что ты, что ты... – испуганно озиралась та. – Забудь, что он тебе приплетал. Он, Орёл, с ума выжил, вот и мелет что попадя. Забудь про такое...

И потом уж сама себе:

– Лечили его, лечили – не пособилось – всё тот...

Зимой в домике Чиканих был лютый холод. Бабушка Дуня уверяла, что у них холодней, чем на улице. «Топют одним бурьянком, а дрова незнамо зачем берегут, – говорила она. – Их, дров тех, уж столько скопилось, что половина погнила, а они всё – бурьянком...».

В большие холода Лидка приходила к нам греться. Тихо, чуть ни в шёпот, жаловалась на Шурку:

– Кричит на меня, ногами топчет: «Ты мне не родная, – маменька тебя нагуляла...». А я гляну, гляну карточки – точная папенька. Ну прямо точная, токо што усов нет. И чего она брешет такое?

– Ты не слухай её – мало ли чего она несёт. Знай себе своё и не спорь, а то ишо она тебя лупить станет, – научала Лидку бабушка Дуня.

Следом за Чиканихами жили Васюки: пьяница дядька Сашка и его рыжая тощая жена Мотюня. Это уже край хутора. Слева от нас чистый, весь в цветах, дворик бабы Аксюты. В чисто вымытых окнах – белые занавески, наличники выкрашены в голубенький цвет, оттого, всегда выбеленный её домишко походил на новую игрушку. Аксюта – ровесница бабы Дуни, и они дружат. Когда-то Аксюта была монашкой, жила в девичьем монастыре в Старочеркасской станице, но потом монастырь, как «рассадник мракобесия», разорили. Она вернулась домой, но образа жизни не изменила – так и осталась монашкой, даже одежда её была на манер монашеской: чёрное до пят платье, чёрная, прикрывающая лоб, косынка. За Аксютой, если выглянуть из нашего проулка, можно было видеть лишь дом деда Проявы, – остальные терялись за поворотом.

Частенько Орёл посылал меня:

– Санько, ну-ка, выбеги, глянь: чи не идёт у Проявы дым из трубы?

– А чего ж ему идти – лето.

– Глянь...

Гляну – и правда дым. Значит, Орлу к Прояве пора.

– Баба, отчего Проява печь в лето топит? – спрашивал я бабушку

Дуню.

– С чего ты придумал, кто ж её в эту пору топить станет?.. И без того дышать нечем.

– Топит – дым вон валит.

– А-а, дым... Это у Проявы часто такое. Соберутся у него Устиновы да Минаи, Черенок прихромает, Орёл... полчане все. В карты бьются, побаски рассказывают да курят в печку – вот он и дым. – говорит бабушка Дуня и тут же удивляется сама себе: – Это ж скоко нужно скурить, чтоб дыму-то стоко?..

Вслед за Орлом тайком пробираюсь к Прояве. В дом не вхожу; затаюсь на открытой веранде, которую по старинке Орёл называет рундуком. Слушаю.

– ...Мне те часы сам Великий Князь Михаил преподнёс на смотре... И случилась с ими беда – грекнул я их где-то в походе, и стали они трошки вперёд забегать... - угадываю я голос Проявы. – Прибыли мы в Варшаву – рекомендуют мне одного часовщика, мол золотой мастер – любой ход подладит... Ну раз такое дело – к нему. А тот варшавский жид оказался такая шельма... Возьми да и обдури меня. Золотую оправу снял, да взамен ей из красного пятака и сварганил схожую. Я ж подмену углядел – давай уличать его в злодействе. «Что ж ты, иудина душа, казака обираешь? Вертай прежнюю одежду на место!» А тот хитренько себе улыбается и вроде недопонимает, о чём речь. Ну как никакая беседа с ним не ладится, решил я выручать свой урон. Сгрёб в чувал его будильники, все, что под руку попались, взвалил на коня, еду тихонько к своим, с досады аж зубами лязгаю... А энтот негодяй, замест того, чтоб усрамиться своей подлости, в полицию полетел... Вот слышу – цокотят следом. Я, конечно, мог постегать их на месте, но не стал, какая ни есть – власть. Но и сдаваться нельзя. Где это видано, чтоб казак ляхам отдавался?! Стал уходить. А будильники грекоют... Достаяю один. Как дам перед ними!.. Тот как заделенчит, пружины во все стороны выпучились - кони на дыбки... Дальше ухожу. Только меня достают, я следующий им под ноги... И так, пока до своих добрался – всё выкидал. Один вот только и остался, и досе тикает...

– Орёл, Расскажи, как ты мадмазелей воспитывал, – просит Трифан.

– А-а-а... – морщась, машет рукой Орёл, но скоро сдаётся. – Был такой случай... – задумчиво покряхтывая, признаётся он. – Дело в Питере было, прями в канун заварушки...

Я уже знаю, что «заварушка» по Орлу, это Великая Октябрьская...

– Вбегает наш есаул, – продолжает Орёл. – Лица на нём нет, перепуганный до смерти. «Тут, говорит, братцы такое дело – бабы голые порт осадили. Люди в смущении по пароходам сидят, выйти наружу стыдятся. Надо какся деликатно спровадить гражданочек тех, чтоб народ не конфузился...» – «А чего им надобно, мадмазелям тем?» – спрашиваем его. – «Да может стать так, что и не мадмазели они вовсе... – отвечает загадками есаул. – Лязби какие-сь...» – «Это как?» – «Это, братцы, они с мужиками жить не хотят.» – «Так зачем же тогда заголяться? Вон, Аксюта наша тожесть не дюже мужиков хочет, так её и силком не разденешь...» – «Вот и пойми их...» Ладно, выехали на место. Стоят барышни на причале, всё своё добро напоказ выставили, красным плакатиком машут. Даёшь, мол, в свободной России свободную от предрассудков любовь. Есаул и шепчет мне: «Ты, Орёл, самый обходительный среди нас, к тому ж, кавалер трёх Георгиев – не сдрейфишь. Побеседуй как-либо с ими, пусть чешут отсель.» Подъезжаю я к им, и как можно ласковей и деликатней завожу разговор. Тут, мол, не баня, барышни, обувайтесь и топайте куда-нибудь, не смущайте моего жеребца. Нет, не уходят. Я тогда по-другому. Решил присрамить их. Сегодня, говорю, день такой... Успение Пресвятой Богородицы. В церквах колокола бьют, а вы с такими делами... Тут одна – самая жопастая, как подскочит ко мне и говорит...

Озираясь, Орёл переходит на шёпот, и я уж не слышу, что ему сказала «жопастая».

– Да ну, так прямь и сказала?! – сокрушается Проява.

– Так и сказала... – кивает Орёл, и крестится на Святой угол, что в обыденной жизни случалось с ним не так часто.

– Ну и?.. – торопит Проява.

– Рассердился, да на том и прекратил их митинг...

– Что ж ты им такого сказал?

– А чего им расскажешь... Потянул одну да другую плетюганом, так с их дерьмо и пошло рулём...

– Обосрались, что ль?!

– А ты как думал! – с уважением взглянув на Орлову руку, отвечал за него Трифан.

Аксюта часто гостила у нас, иногда из жалости ходила кормить Чиканих.

– Куда правишься, Ксюта? – окликал её дед Орёл.

– Да вот девок проведу, молочка отнесу... – отвечает та, словно оправдывается.

– Им с под бешеной коровки молочка надо...

– Шура совсем плохая, наведуясь... – голос Аксюты робок и тих.

– Нездоровится ведьме...? Ступа, видать, ночью не заводилась...
– ворчит Орёл, но Аксюта уже прошла, и разговор обрывается.

Доглядывал Аксюту её племянник Паша, незаметный, тихий, как девочка, парень. Паше уже под сорок, а он всё ещё не женат. Когда мне было лет пять, рыбалить меня отпускали только с условием, если со мной пойдёт Орёл или Паша. У Орла вечно случались неотложные дела, а Паша был добрым и мягким, какие б дела его не держали, стоило мне поканючить над ним – уступал. Однажды, едва мы закинули удочки, я выдернул килограммового линя и тут же скомандовал:

– Пашка – домой!

Паша, на ходу сматывая удочки, едва поспевал за мной, а я, заходя в каждый двор, обошёл весь краёк, даже к Прояве умудрился завернуть, хоть и было не по пути.

– Глядите, что я поймал!.. Во-о!!! А Пашка – ничего!.. – докладывал я.

Все «ахали», восхваляли меня, Мотюня даже обещалась сообщить в газету, и только один Орёл умудрялся обидеть. Едва я открыл рот, чтоб поделиться своим успехом – тот уж щурится:

– У Пашки отнял?

Я настолько оскорбился, что даже не стал оправдываться пред ним, молча хлопнул калиткой, ушёл к себе.

Орла так и не согнули годы – ходил прямой. «Как штык», – говорили в хуторе. На худом лице его большие, выбеленные сединой усы, левый глаз постоянно прищурен – результат давнишней контузии, и оттого кажется, что он всё время усмехается, даже когда не в себе – похоже – весел.

– Орёл, ты дюже старый? – спрашивал я.

– Хо. Не новый, – отвечал Орёл.

– А чего ж ты не гнёшься тогда? Баба Дуня тожесть не дюже новая – вон как скрючилась...

– Я, Санько, николаевскую палку проглотил в своё время, – отвечал старик.

Ошалевшими глазами смотрю на Орла: как он мог проглотить эту «николаевскую палку», и где она там у него размещается? Несмотря на свои годы, Орёл всё ещё трудился в колхозе. В осень и зиму, когда утихали полевые работы, вязал мётлы, плёл корзины; летом работал водовозом. Работа сезонная, нетрудная, но поспевать надо. Ещё затемно запрягал он старого, как сам колхоз, мерина Потапа и ехал с бочкой на водокачку, оттуда развозил воду по степным бригадам.

– Орёл, бери Сашку с собой, – просила бабушка Дуня. – А то ему заняться нечем – чертуется с угла в угол, путается в ногах. Там хоть дорогой займёшь его.

Должно быть, Орлу бывало скучно в пути, потому, если меня

удавалось поднять – брал с удовольствием.

– Что, Санька, едем трудодни зарабатывать? – шурился он.

– Едем, – сонно кивал я.

Но скоро свежий воздух прогонял дремоту, и я донимал Орла бесконечными вопросами.

– Орёл, а зачем ты один живёшь? – спрашивал я.

– Чего ж один, а Потап?..

– Потап – лошадь, с ним не поразговариваешь.

– Хо, – ещё и как поразговариваешь. Он все слова понимает.

Иной раз такое мне понарассказывает...

– Ну пусть расскажет. Пусть!..

– Он на людях стыдится. Как одни – его не переслухаешь.

– Брешешь ты всё, Орёл, – заподозрив обман, обижаюсь я.

– Хо, не веришь? Дело твоё... Таких, как Потап, не сыскать. Я им даже не правлю, куда надо – туда и идёт...

Смотрю на Орла – правда не правит; Потап сам, где надо, поворачивает, где надо, останавливается.

– Зачем ты тогда здесь? Потап и без тебя управляется.

– Хо, то верно, я ни к чему – так, абы ему веселей было.

– А Потап твой?

– Чей же ещё? Мой.

– А ты его купил? – текут бесконечные вопросы.

– Ну а то не лупил... Лупил. Думаешь, отчего он умный такой...

– весело шурился Орёл.

– Купил?! – кричу я.

– Говорю же – лупил, как его не лупить. Его если не лупить – сам на тебе ездить станет – до того умный... – продолжает насмехаться старик и тут же переключается на Потапа:

– Ну, халява, шибче пошёл, а то до ночи с тобой, умником, не управимся...

Некоторое время едем молча. Обидевшись, я смотрю, как попыхивает пылью, убегающая под колёсами земля, как ложатся под ветер ковыли на краю балки, как, вереща, кружат в вышине кобчики, как падают в блестящие на солнце колосья ячменя жаворонки, и как качаются на высоких соцветиях душицы шмели. «Правду бабушка говорит: «язва – Орёл», – думаю я. Но скоро я начинаю скучать и забываю обиду.

– Орёл, отчего б тебе Аксюту не засватать? – опять докучаю старику.

– Хо, может Шурку Чиканову? – востепенувшись, шурился тот. – Шурка мне ближе подходит по характеру.

– Шурка непутёвая, ты её не любишь – Аксюту сватай.

– Хо, Аксюту... Мне её и через усадьбу хватает... Я какся ей

говору: «Ты Ксюта, в Бога веруешь, я тожеть верую, и крестюсь, и молитвы по ночам шепчу, а всё не в прок», – «А какой прок тебе нужен?», – «Никакой благодати – одни страдания да печаль», – «Благодать на Небесах ждёт, а здесь терпи, страдай и молись – всё тебе там зачтётся». Во какое завернула, а ты говоришь: сватай её. Этак с ней до самых «небес» благодати не дождёшься. Я ей тогда и сказал: «Я, Ксюта, здесь стоко перетерпел – пятерым мученикам хватит, но если ещё и Там мне страдать доведётся – отыщу, и такое тебе задам за напрасное терпенье...».

– Не отыщешь, – говорю я Орлу. – Вы там по разным местам будете. Аксюта святая, – она в рай попадёт.

– Да-а... то так... С Чиканами дорога мне... – соглашается тот.

– Орёл, а зачем ты на Чиканих такой злой? – меняется наш разговор.

– Они ж ведьмы! Ты разве не знал? – без всякого прищуря отвечает тот

– Это как?.. – изумлённо шепчу я.

– Ночами на мётлах летают, – просто объясняет Орёл.

– У них же всего одна метёлка, я видел, и та разломатая.

– По очереди гоняют – метёлку и затрепали... Думаешь, чего они меж собой бьются – метёлку не поделят.

– Ты б новую им связал.

– Хо, новую... И так спасу нет, – пусть старую добивают.

Такие разговоры у нас случались чуть ли ни каждый день. Если какой-то из моих дурацких вопросов был Орлу не по душе, он мог его и не расслышать, а то и вовсе сменить разговор; нахмурится да как рыкнет:

– Ну, что ты судомишься?.. Шило там у тебя в жопе? Не ёрзай! Разве ж мать настачится на тебя одёжки – штаны до дыр проелозил...

Я обижался и на какое-то время умолкал. К вечеру у Васюков собирался весь краёк: сходились встречать коров. У Мотюниного двора большая куча брёвен. Когда-то их привёз Сашка, затевал колоть на пластины, чтоб потом ставить сажок для свиней, но до этого дело так и не дошло. Лежат брёвна который уж год – мхом поросли. На них и собирается наш народ. Рассядутся поудобней – последние новости сочиняют. Наилучший мастер этого жанра – сама Мотюня. Она знала не только то, что уже случилось, но и всё, что непременно должно произойти.

– Ой, бабоньки, что вам сейчас расскажу!.. – начинала она каждый свой выход.

Сашка являлся поздно, когда основные новости были уже свёрстаны и обсуждены. По обыкновению, он был навеселе, а иной раз Орлу приходилось запрягать Потапа, чтобы доставить Сашку домой.

Только появится на бугре – все уж гадают: дойдёт – не дойдёт.

– Что-то шибко его кидает, может, ийти запрягать? – говорил Орёл.

– Погодь, глянем, как дальше посунется, может, ещё и дотянет...
– оживала публика. А сама Мотюня, зажмурившись, запевала:

Вот кто-то с горочки спустился,
То верно милый мой идёт.
На нём рубаха с петухами
Одета задом наперёд.

Сашка тяжело ухался на брёвна, переводил дух.

– Вот так, грохнется, как полено, и ни один чёрт его не берёт, – жалуется Мотюня. – Какой хороший человек уже б убился давно, а этому – хоть бы што. Сашка в долгу не оставался, пытаюсь неуклюжими руками обнять Мотюню, запевал:

Приди ко мне, хорошая, приди ко мне, любезная,
На весь куток известная, как хлорофос, полезная.

– Шёл бы ты, «полезный», ночевать, – говорит Мотюня и тут же продолжает, как уже о ком-то постороннем: – Он за что ни возьмётся – нет толку, не хозяин – прорва, а руки из жопы растут.

– Как это нет толку? – шевелится на брёвнях Сашка. – Двух сынов, дочку какую сделал, и нет толку?..

– Да ты разве участник там, я, может, без тебя их поделала, тебя и близко при этом не было.

– Это ж какое ангельское терпение нужно иметь, чтоб сносить эту чёрту?.. – сам себе удивляется Сашка. – Вот вырвусь на недельку-другую к какой-нибудь вдовушке, хочь чуть отдохну от тебя...

– Куда-куда вырвешься? – всплескивала руками Мотюня. – Хоть при людях не грозись, а то я скажу, какой из тебя вырывальщик до вдовушек...

– Та я чего и говорю: отдохнуть...

Аксюта на брёвнышки не приходила. Вместо неё встречал коров Паша. В разговорах он никогда не участвовал, от кем-то оброненного крепкого слова краснел и держался всегда в стороне. Мотюня задалась целью женить его, подыскивала в других хуторах «подходящих» девчат. Паша послушно ездил на смотрины, но там как-то всё не клеивалось: то девчата его не хотели, то сам он бежал от них. Наконец, нашла ему Мотюня в соседнем районе разведёнку с двумя детьми. «Славная бабочка, из себя справная, самостоятельная – не абы что, а хозяйка – так золотая», – нахваливала она. Поехал Паша, познакомился, да на диво всем, сразу же и засватал. Теперь весь наш краёк ждал свадьбы.

– Когда ж перевозить будешь? – торопили Пашу.

– Ныне нельзя, – отвечал Паша. – Петров пост. Вот на Петры и Павлы разговеемся – тогда...

– Пока годить будешь, она себе нового кавалера сыщет, – шурился Орёл.

– Не сыщет, – отвечала за Пашу Мотюня. – Там уже сладил всё.

– Ну а ты, Павло, хочь примерял-то?

– Как это?.. – терялся Паша.

– Вот те раз, жаниться надумал, а как примерять – не знаешь. А может, она неподходящая тебе.

– До свадьбы нельзя о таком и думать, – отвечала опять Мотюня.

– Ну, это что ката в мешке брать.

– Глупости... – робко возражал Паша.

– Глупость – на авось уповать, – не унимался Орёл. – Тапочки хреновые покупаешь, какие месяц носить, и то примеряешь, чтоб не тёрли, не давили или не болтались... а тут такое дело: на всю жизнь – и без примерки...

Паша краснел и молча уходил с брёвнышек.

– Орёл, ну что ты встреваешь?! – ругала его Мотюня. – У парня только слаживаться стало, а ты с этим...

– Да без «этого» разве ж сладится?.. – отвечал Орёл.

Умерли Чиканихи зимой, в тот год, когда я пошёл в школу. Первой заподозрила неладное Аксюта. Она приносила сёстрам есть, но так и не смогла достучаться. Выломали дверь и нашли их окоченевшими в холодной комнате. Хуторские старухи пошли хлопотать над телами покойниц и, когда открыли сундук, чтобы найти чистую одежду, ахнули. Сундук чуть ни доверху был наполнен всяческой драгоценной утварью: серебряные кресты, ложки, чашки, подсвечники, золотые кольца, серьги, цепочки... лежали в нём вперемешку. Чистой одежды так и не нашли, пришлось принести свою. Решено было послать в сельсовет Пашу, чтобы он заявил о случившемся властям. Против этого был один Сашка:

– Мы их всем кутком кормили – давно уж этот сундук отработали, – говорил он. – Не надо никуда заявлять. Его если в дело пустить – до конца дней поминать можно. Отпоём как-либо и без властей...

– Господь с тобой, Сашка, – испуганно шептала Аксюта. – От этого и так сколько горя... Бедные-несчастные девоньки, это ж надо так наказать себя... Не приведи, Господь, никому... Всё тлен и прах, тлен и прах... – причитала она.

Прослышав о случившемся, потянулся к Чикановой хатке весь

хутор. Один Орёл не пришёл. Щуря свой левый глаз, он весело окликал проходящих:

– Ну что, не прикопали ещё?

– Куда торопиться – дня не прошло, – отвечали ему.

– Во как, а смердят, что неделешные.

– Что ты, Орёл, грех так злобиться на покойных, – укоряла его бабушка Дуня. – Сам скоро там будешь...

– А я и не собираюсь здесь засиживаться, – мне туда поспешать надо, – отвечал Орёл.

– Это ж что за срочность такая?

– Хо. Погляжу, как сучек этих черти на сковородках разогревать будут.

Пока Паша ходил за властями, часть сундука всё-таки растащили. Даже бабушка Дуня тайком принесла серебряный именной портсигар, на котором красивым витиеватым почерком было выгравировано: «Казаку 10-го полка Орлову Ивану Савельевичу, за боевые заслуги. Август 1916».

– Отнесём окаянному – его память, – сказала она.

Вечером мы отнесли портсигар Орлу.

– Хо! – весело сказал он. Подержал портсигар на вытянутой руке, словно прикидывая его вес, и вернул нам.

– В яму им киньте, пускай прочаются там...

Пришлось бабушке Дуне портсигар отнести обратно. На следующий день Сашка большой деревянной лопатой разгрёб на кладбище снег и разметил место на одну широкую яму.

– Им надо б врозь копать, – робко заметила Аксюта.

– Ничего, поладят как-либо, чай не чужие... – не скоро ответил Сашка, которому лень было копать две отдельные ямы.

А на девятый день после Чиканих неожиданно помер Орёл. Когда мы вошли к нему, он, со скрещёнными на груди руками, неподвижно лежал на деревянной кровати. Рот его был приоткрыт, а левый глаз, по обыкновению, прищурен, и от этого мне казалось, что в губах его по-прежнему шевелится знакомая всем усмешка. В правом углу, в золотистом свете лампадки, необычно, словно в пасхальный вечер, сияли украшенные бессмертниками иконы. Мне даже почудилось, что архистратиг Михаил улыбнулся мне.

– Надо ж, как негаданно помер, – говорили одни.

– Год високосный на исходе – вот на стариков и мор, – шептались другие.

И один только я знал: помер Орёл специально.

Когда Орла хоронили, я не утерпел и тихонько сказал матери:

– Вот теперь задаст он им... Кто ему там помешает...

Мать больно стиснула мою руку, но ничего не сказала.

Вот и всё, что осталось в памяти от моего детства, – эти картинки да присказка, придуманная неведомо кем:

Куркин, славный хуторок,
Чёрт по балке разволок.



Анна Соколова. Что видят твои глаза.
Холст, масло, 190X200.